

● Это было осенью 1946 года. Я стояла под дождем на Тверском бульваре у стенда, где вывешивают газеты. Денег в моем студенческом кармане не было, обычно читала газеты так. Совсем близко, шагах в десяти, был виден Пушкин — дымился под дождем кудри, шляпа закинута на полы бронзовой крылатки. В этот момент поэт имел самое непосредственное отношение к тому, что я прочла на темной, размокшей от воды газетной полосе.

ОТ ПОТРЯСЕНИЯ, неожиданности я оглянулась. Вокруг было пусто. Только песчаная полоса аллеи, а подальше, в саду — здание Литературного института, с лекций которого я только что ушла.

Последнее время я чаще писала стихи, чем слушала лекции. Мне было двадцать, я сама карабкалась на какую-то неизвестную еще высоту, горевала, когда срывалась, ушибаясь о вроде бы невидимые камни, и радовалась глубоко, сильно, встретив по удивительной случайности свою первую в жизни любовь.

Она, как ни странно, находилась в связи со всем, что теперь со мной происходило: со стихами, с недослушанными лекциями, с бронзовым Пушкиным, стоявшим в начале бульвара — в проломе синего или серого неба. И с другим поэтом пушкинской школы, моей современницей, у которой я училась, Анной Андреевной Ахматовой.

Итак, была осень сорок шестого, в Москве лил дождь, я читала газету у стенда, и мне вдруг показалось, что все вокруг начинает рушиться: раскалывается, зияя трещиной, пушкинский пьедестал, и неправда, непонятная еще, отскакивает, как мутный дождь, от сырого газетного листа, бьет в лицо...

Голос Жданова, схваченный типографским шрифтом, как бы доносился сюда из Ленинграда, где жила поэтесса: «Анна Ахматова является одним из представителей безыдейного реакционного литературного болота. Она... является одним из знаменосцев пустой, безыдейной аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе... Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда».

Две правды сшибались передо мной: правда Ахматовой и правда Жданова.

Страшно мне не было. Свой страх я растеряла, когда двенадцатилетней девочкой в 1938 году узнала об аресте отца. Вступившего в партию большевиков в окопах первой мировой, председателя ревкома в гражданскую, награжденного за Испанию наркомом обороны... Но потом я, дочь «врага народа», видела ночью обыск в нашем доме, книги, разбросанные на полу; охранник сопровождал меня до туалетной комнаты...

Свой страх я потеряла, когда отец вернулся из тюрьмы — через год. Не подписал себе обвинения под пытками, не предал товарищей. В ночь возвращения он, теперь ставший седым, обросший черной бородой, спокойно подошел к столу, рванул за угол грязную желтой бязи наволочку — посыпались куски тюремных сухарей, осколки сахара. Три раза отца выводили голым — на расстрел, а он готовился к лагерям, к этапам. Откладывал продукты. Надо было выжить, чтобы доказать правду.

Урок мне. ...Свой страх я растеряла, проводив отца на фронт в сорок первом — комиссаром полка московского ополчения. Мы остались с матерью в Москве — под бомбежками; я шила рубахи бойцам, жестоко голодала, дежурила в госпитале около умирающих.

...А потом — еще в войну, в сорок четвертом — меня приняли, к моему удивлению, в Литинститут. Пусть годами я моложе всех студентов, — думала, топчась у стенда и борясь со смыслом газетных строк, — но я — тоже молодежь, ее часть, и мне поэт не принес вреда.

Я училась у Ахматовой простоте, мужеству, искренности. Ну ладно — я. А ребята, мои товарищи-студенты? Мне было пятнадцать, когда началась война, на фронт не брали... Они же были постарше, они смогли уйти в армию, сделать самое главное — защитить страну. Пришли с войны. Контуженные, кто без руки, кто без ноги. Шинели донашивают, голодают, болеют. Знают то, чего я не знаю.

Мы — студенты разных курсов — всегда собирались в коридоре института: маленьком, с окнами в сад, широкими подоконниками и деревянным жестким диваном. В этом коридоре мы сбивались в кучки, читали стихи, свои и чужие.

Читала и я. Мой однокурсник — Яша Козловский — в гимнастерке с расстегнутым воротом, потряхивая шевелюрой, беззлбно говорил: — Ты пиджак Маяковского

надела, а он велик тебе — ниже колен...

В коридор протискивался и, прихрамывая, шел к подоконнику Коля Старшинов — кареглазый, в армейском, защитного цвета ватнике, начинал читать только что написанные стихи:

Хромой? Ну, что же что хромой?

Не все же видеть в худшем свете.

Мы не за тем пришли домой,

Чтоб гастролировать в балете...

Война еще шла — Николай Асеев, друг Маяковского, читал нам стихи Блока о Дон-Жуане, не боясь безыдейности



и оторванности от народных испытаний. Потом Александр Межиров — бледный, без ушанки, в застегнутой шинели, запинаясь, читал свои «Коммунисты, вперед!» Меня почему-то особенно удивляла, мучила вроде бы простая строка: «Летним утром граната упала в траву...» Пехотинец Семен Гудзенко — крупный, брови срослись, начинал свое боевое письмо, советское: «Разрыв — и умирает друг. И, значит, смерть проходит мимо».

Они тоже были молодежью, видели смерть. Их на мякине не проведешь. Они знали — о чем писать, но часто еще им было невдогад — как? И ребята учились — у Багрицкого, Пушкина, Эразма Роттердамского и Свифта, у Ахматовой... Читали ее, любили, знали на память.

И вот, оказывается, Ахматова приносила нам, молодым, вред. «Ничего, кроме вреда»...

Тогда я стала припоминать, бормотать про себя стихи, написанные ею в войну.

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах.

И мужество нас не покинет.

Передо мной вдруг встало — вспомнилось — ее горбоносое, гордое, болезнью опорокнутое на подушку лицо. Седящая женщина, которой под шестьдесят...

Блудница, мечущаяся между будущим и мольбой, как теперь ее называли.

Этак можно пустить по Тверскому змею, несущую хулу, унижения, и она подползет к пьедесталу, к Пушкину, укусит его в самое сердце, которое для нас было живым, продолжало биться...

И повторяла ахматовские строки, выверяя свои мысли: ...И мы сохраним тебя,

русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя

проведем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!

...Дождь кончился. Я повернулась, пошла обратно в институт. Звенел звонок, я вошла в маленькую нашу аудиторию, села, как всегда, за стол-парту — рядом с Юрой Трифоновым. И снова его локоть, шершавый рукав оказался рядом: Юра носил грубую, серого ворса куртку, видно, перешитую из шинели. Он повернул ко мне боковое, чуть одутловатое лицо, в упор поглядел сквозь стекла очков веселыми темными глазами, удивился:

— Что с тобой? Вернулась. Простились вроде...

— Видел доклад? На бульваре прочла...

Трифонов промолчал, потом сказал:

— Знаешь, дома есть буфет. Ключ от машинки — швейной — к нему подходит. Там конфеты. У мамы...

Приглашал после лекций выпить чаю — у себя, на Калужской, в комнате, где стоял огромный письменный стол, заваленный, как гравием, сло-

ем темных монет... Путь на Калужскую лежал мимо моего многоэтажного серого дома у реки, который потом Юрий Трифонов описал в романе «Дом на набережной». Но это будет позже...

А пока я забила в угол, поближе к стене, и думала, думала... Беда была большой. Касалась нас всех... Я знала тридцать восьмой, тридцать девятый... Сорок первый. И сорок пятый! Победу... Отец вернулся с войны. Он победил. И ребята — тоже. Нас не так-то просто было вдруг сломать, сбить с толку, переиначить мысли, отнять у нас поэтов, отравить вседозволенностью оскорбительных речей.

— Слушай, — сказала я Трифонову. — Ахматову видела. Недавно... была...

Он молчал. Он обычно молчал — спокойный, угрюмый. Лекция шла своим чередом, я смотрела в тусклое от дождя окно, вспоминала встречу.

Этим летом — всего один день — я была в Ленинграде: ехала к отцу в Эстонию, где он закончил войну. У меня

Я стала читать. Разное. И такое:

После боли придет равнодушие,

За дождями — размашистый снег.

Я пройду по Москве и пристушаюсь,

Как на море молчит человек...

Я тоже молчала о том, что трагически оборвалась моя любовь. Не стало штурмана Северного флота. Уже месяц-два стихов у меня не было. А в институте надо было выдавать стихотворения на-гора. Поговаривали даже, что предстоит нам выкладывать, представлять в учебную часть свои черновики...

...Стану путать Нансена с Григом,

Сеть сырую таскать на плечах.

И напишутся новые книги — Свежей пеной на темных песках.

Это я раньше писала. А сейчас? Будто пересох ручей.

Ахматова читала мысли. Она сказала:

— Вы будете писать всегда.

Стенд на Тверском бульваре

Этюд о далекой юности и об одной встрече

был номер телефона Ахматовой. Надежды на встречу не было... Я вышла из вагона поезда, прошла по Ленинграду — боялась позвонить слишком рано, чтобы не разбудить, или слишком поздно, могла не застать дома.

Вдруг решила и набрала номер. Мне ответил мужской голос. Я попросила к телефону Анну Андреевну, не веря в реальность происходящего.

— Пожалуйста, — ответила мне. — Она нездорова, но пойдёт...

Нездорова... Все рушилось, не увижу ее.

Тут я услышала голос Анны Андреевны.

Поздоровалась, сказала, что пишу стихи, учусь в Литературном институте, сегодня из Москвы.

— Плохо себя чувствую, — ответила Ахматова.

Голос звучал глухо.

Все было кончено. Не увижу. Не услышу. Никогда...

Прощаясь, от безнадёжности я что-то пробормотала — в Ленинграде проездом, вечером уезжаю...

Анна Андреевна помолчала, потом сказала:

— Приходите. Сейчас...

И я пришла. Дверь открыл худощавый молчаливый мужчина, провел меня в большую, почти пустую комнату: слева — окна, прямо — у дальней торцевой стены, — бюро. Справа, у стены напротив окон, на узкой кровати затылком ко мне лежала Анна Андреевна.

Мое волнение прошло, все будто встало на свои места. Она была здесь, рядом со мной, в старой комнате со старым паркетом. Я подошла, встала у постели, и в глаза бросилось, словно мгновенно придвинулось, горбоносое на фоне бледной стены, как очертанье вечных гор, лицо. Спокойное, твердое, чуть желтоватое.

Худощавый мужчина принес стул, поставил у постели, предложил сесть. Голова Ахматовой лежала низко на плоской подушке — льняная, цвет песка наволочка.

— Какой курс? — спросила Анна Андреевна.

Глуховатый низкий голос.

— Второй. Только что перешла... С трудом.

— У вас студентка есть, — Ахматова назвала имя и фамилию девушки, моей однокурсницы. — Она была у меня. Холодные стихи...

Это было правдой.

Анна Андреевна посмотрела на меня. Я молчала. Мне было далеко до таких устойчивых, уверенных строк, хорошо сделанных, четких образов. У меня ритм то прерывался, то несся вскачь, рифма часто была приблизительной, образ торчал из строфы... На память пришел огромный пиджак с поэтического чужого плеча, что ниже колен...

Но смущения не было, я как бы стояла перед Ахматовой в исподней рубахе — такая, какая есть. Пришла сюда не поклонницей или почитательницей. Без цветов. Как ученик к Мастеру. Мне хотелось что-то постигнуть... — Почитайте ваши стихи.

...Я смотрела на рисунок углем, висевший над кушеткой. Горбоносый профиль, челка, пять толстых штрихов — кисть облокоченной руки. Портрет молодой Ахматовой. Быстрая безукоризненная работа.

— Это в Париже... Молодой художник... Очень нравится Илье Эренбургу — просил.

Помолчала. Потом я услышала:

— Почитаю... вам...

Она читала свои стихи, неизвестные мне, видно, недавно написанные — после возвращения из Средней Азии.

«Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни...»

Надо было уходить.

Анна Андреевна медленно поднялась, прошла к стене, где стояло бюро — я сидела к нему спиной, не видела что и как, — потом, вернувшись, подарила на память толстый, темный, с неровными краями кусочек металла. Сколько ему веков — не сочтешь. Греческая драма.

...Я вышла от Ахматовой, туго завязала подарок в угол носового платка, для сохранности, чтобы не потерять...

Летом я много ездила по разным городам, начала работать в газете, перекладывала платок из кармана в чемодан и в конце концов потеряла — не знаю, на какой станции, в каком городе — эту драмму. Но, мне кажется, невидимый след ее остался на ладони...

Так же, как Ахматова осталась с нами.

... Мне всегда казалось почему-то, что она будто видела живого Пушкина, словно ей удалось жить и в его время. Возможно, на меня так действовал город, в котором оба жили. Но бесспорно — поэтов разных веков держит одна нить.

Недавно я шла бульваром и остановилась перед афишей — молодое лицо, молодые глаза Ахматовой смотрели на меня: в концертном зале сегодня читают ее стихи. «Реквием». Как из подземелья вырвался ее глуховатый голос.

Ее именем назван астероид. 1989 год объявлен ЮНЕСКО годом А. А. Ахматовой: отмечается столетие со дня рождения Поэта.

Но граждане города Мариуполя — так он назывался, прежде чем стать Ждановом, — собирали деньги, выходили на улицы, чтобы смыть его имя с лица города...

Больше не носят имя Жданова — организатора массовых репрессий 30—40-х годов в отношении ни в чем не повинных советских граждан — города, районы, поселки, улицы, колхозы, Ленинградский, Иркутский университеты, школы, техникумы, училища...

Сбылось пророчество Ахматовой:

Успеете наахаться,

И воя, и кляня,

Я научу шарахаться

Вас, смелых, от меня.

Научила. Но разве только этому? Возьмите томик ее стихов — перед вами откроется мир высокой духовности.

Наталья ВИШНЕВА-САРАФАНОВА.